

ЛЕОНИД БЕЖИН



ЖЕЛЕЗНЫЙ РОТ

РАССКАЗ

Здравствуй, дорогая Лиза, Сопливая Маргышка! Помнишь, я так тебя называл, потому что на даче, особенно ближе к осени, сентябрьским холодам (хотя ещё не заморозкам) ты вечно простужалась? Достаточно было сквозняка, гуляющего между двух открытых форточек, или утренней вылазки из тёплого, натопленного дома на выстуженную за ночь террасу, и ты уже поймала холод (дачное блаженное отупение допускало только такой русифицированный английский). Ты напяливала на себя две кофты: одну — на болтавшихся пальмовых пуговицах, а вторую — на застревавшей где-то посередине молнии, куталась в траченный молью пуховый платок цвета вываренной моркови, натягивала толстые шерстяные носки и обрезанные по щиколотку валенки. Ты сверху, через ворот рубашки, слегка оттянутый на сторону, засовывала под мышку термометр, при этом запрокидывая голову и кривя рот так податливо и брезгливо, словно парикмахер сбрасывал тебе бакенбарды. Ты что-то закапывала в нос из пипетки, на мой взгляд, совершенно бесполезное, но позволявшее тебе со страдальческой гордостью сказать: “Честно лечусь”.

И было жалко смотреть на твоё несчастное, милое, сморщенное личико, поскольку ты и кашляла, и чихала, и текло отовсюду: из носа и из глаз, и ты спрашивала, придирчиво глядя на себя в никелированный шарик кровати, заменявший тебе зеркало: “Как ты можешь любить такую мымру? Такую обезьяну?”

БЕЖИН Леонид Евгеньевич родился в 1949 году в Москве. Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ и аспирантуру при нём. Прозаик, автор романов, повестей, рассказов. Лауреат нескольких литературных премий. В данное время является ректором Московского института журналистики и литературного творчества.

А я такую-то и любил, и готов был задохнуться от счастья, когда ловил тебя за шкафом, где ты пыталась по-детски спрятаться, приседая при этом на корточки и накрываясь ладонями, как домиком. Ловил, поднимал на руки, кружил и целовал. Ты же у меня на руках чувствовала себя весьма вольготно и держалась с повелительным высокомерием. Отдавала мне различные команды и указывала пальцем на предметы, которым следовало уделить *высочайшее* внимание: “Посмотрим, что у нас в этой шкапулке”, “Давненько мы не заглядывали за эту вазочку”. И не спешила соскользнуть на пол, поскольку пользовалась всеми правами маленькой женщины, уверяя при этом: “Да во мне весу-то... как у балерины Большого театра, так что держи, держи и не жалуйся”.

Я и не жаловался...

Ну, да хватит об этом, а то этак можно раскиснуть и удариться в сантименты, навеваемые воспоминаниями. Тем более что для женщины прошлого нет. Разлюбила, и стал ей чужой, по словам поэта, уж и не вспомню, какого именно, но, во всяком случае, хорошего, иначе бы он это не написал, а сочинил бы какую-нибудь мутоту, вроде: “Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне...” Тебя всегда особенно возмущало, что у любви отняли скамейку и луну. Однако это уже мелочи.

Позволь полюбопытствовать, как там твоя Брюссельская Капуста, твой толстячок бельгиец с апельсиновой лысиной, маленькими, похожими на пельмени ушами и треугольником волос под носом, заменяющим усы? Не обмочился, не наложил в штаны, когда начались эти ужасные теракты? Когда порохом-то запахло и полиция бестолково забегала, не зная, кого хватать и кому надевать на запястья браслеты в виде наручников?

Шучу, шучу, а то ощерись, как ангорская кошка, выгнешь спину и выпустишь острые коготки. Ты своих в обиду не дашь. За них глаза выпарапашь. Да и он у тебя только с виду трусоват, а так, разумеется, храбрец, смельчак и оригинал... Признаю.

Или, знаешь, есть ещё более подходящее словечко — фрик. Вот и он у тебя настоящий, законченный фрик. Может в своих полосатых подтяжках, с заправленной за ворот салфеткой, испачканной яичным желтком (он всегда немело протыкает ложкой сваренное всмятку яйцо), взять дедовское охотничье ружье и отправиться на защиту европейских ценностей. Ать-два. Ещё и пальнёт в какого-нибудь Синдбада-Морехода, так что у него слетит с головы чалма и на лбу останется глубокая, сочащаяся сукровицей царапина. Я твоего фрика-бельгийца за это готов обнять и расцеловать, причём без всякой ложной стыдливости, поскольку подобные проявления чувств между особями одного пола сейчас поощряются и приветствуются в объединённой Европе.

Я, видишь ли, вознамерился написать тебе длинное письмо. Написать, как в былые времена, когда мы ненадолго расставались. Скажем, ты отбывала в город N, под которым у нас всегда подразумевался Ленинград, и я заполнял убористым почерком ученические тетрадки — из эгоистических соображений, разумеется, единственно ради того, чтобы твоё внимание было занято исключительно мною. Тебе легко удавалось меня раскусить, и ты злилась на меня ужасно, но добросовестно дочитывала до конца, зная о моих изощрённых способностях проверки. Ведь когда ты возвращалась, я мог якобы ненароком спросить: “А как тебе мой пассаж на предпоследней странице?” И будь любезна ответить, иначе обижусь, надуюсь, нахмурюсь — уж это-то я умел. И придёт-ся меня раздувать, как самовар сапогом, чтобы я снова запыхал, заискрыл и во мне ожили погасшие угли...

Вот я и вознамерился, хотя город N — это уже не Ленинград и даже не Санкт-Петербург, а Брюссель, штаб-квартира Евросоюза, где *35 000 одних курьеров*, ха-ха-ха (горьким смехом моим посмеюся...). И я даже хочу постараться, чтобы у меня, как и прежде, в одной фразе не повторялись предлоги. У самого Николая Васильевича (фамилию впишешь сама) и то повторялись, а вот у меня не повторялись — такова моя прихоть. У тебя же это никогда не получалось, и ты смотрела на меня с восхищением.

И вот мне чертовски хочется напомнить тебе об этом письмом — невероятно длинным, как у твоего любимого Джерома Дэвида (фамилию

опять же не забудь вписать сама). У него одно письмо занимает добрую сотню страниц. Чтобы их чем-то заполнить, ему, бедняге, приходится подробно описывать всё, что с ним происходит во время писания (нет, я не критикую, хотя ты всегда считала, будто я из ревности придираюсь к твоим любимцам).

Вот и я, да будет тебе известно, сижу в старом рассохшемся кресле с подставкой для ног, широкими, обитыми истёртым бархатом подлокотниками и чем-то вроде навеса над головой, призванного защитить от палящего южного солнца. Некогда оно покоило усталые чресла кардинала Ватикана, которого даже хотели выбрать папой, и выбрали бы, если б он завербовал побольше сторонников и заручился поддержкой околоцерковной мафии. Но вот по слабоволию и христианскому смирению (на выборах оно может оказать плохую услугу) не завербовал и не заручился. И потерял голоса — его прокатили.

Не буду называть его имени, только скажу, что в последние годы перед своей праведной кончиной он часто навещался из Рима сюда, к себе на родину. И, уже больной, еле передвигавший ноги, сидел на балконе в этом кресле. При этом перебирал кипарисовые чётки, гладил комнатную собачку, вскакивавшую ему на колени, и ради забавы обучал дрессированного попугая разным бранным, скабрёзным, глумливым словечкам в адрес своих врагов из окружения вновь избранного папы. Кардинал находил в этом маленькое удовольствие, из чего следует, что христианского смирения у него поубавилось. Но он надеялся, что сей грех ему простится.

После кончины кардинала его полуслепая, полуистлевшая, истончившаяся до прозрачности, но сохранившая здравый рассудок мать продала за бесценок это кресло, чтобы оно не напоминало ей о том, что она пережила собственного сына. Новые хозяева недолго держали его у себя и тоже продали, благо нашлась несчастная, согласившаяся уплатить несколько монет за эту рухлядь. Этой несчастной оказалась моя будущая жена, набожная католичка, ревностная почитательница глумливого кардинала, готовая целовать землю, по которой он ступал.

Так это кресло попало ко мне.

Я вызвал столяра, чтобы его надёжно склеить, укрепить и обновить, и вот теперь оно покоит мои чресла, заставляя задумываться о судьбах вещей, не менее удивительных, чем судьбы людей. Это, конечно, банальность (уж ты прости), но у меня слишком много поводов, чтобы не пренебрегать ею. Достаточно вспомнить нашу мебель, спроектированную, по твоим словам, великим Щусевым (по какой-то причудливой прихоти все свершения в области архитектуры ты приписывала ему). Когда-то мы привезли её на дачу из проданной квартиры в высотном доме, и она нам ещё послужила, хотя задумывалась и проектировалась не для дачного интерьера, а для того земного рая, каким должны были стать послевоенные высотные дома. На даче ей было не место: она портилась, ветшала, подгнивала, подточенная червячком. И я её всё-таки продал. И знаешь, кому? Тому самому огнисторыжему, скуластому мальчику, приёмному сыну наших соседей по даче, которого родители приводили с собой к нам, пока его сестра занималась на скришке. Однако хватит об этом.

Я восседаю в своём кардинальском кресле у открытого окна с потускневшими медными шпингалетами времён Муссолини, поднятыми жалюзи, шелестящими от лёгкого ветерка, порхающей между рамами бабочкой (недолго ей осталось порхать) и нацарапанными на подоконнике строчками церковных гимнов. Эти гимны жена поёт по утрам, едва пробудившись и расчесав деревянным гребнем (изделие нашего соседа) спутанные волосы, — поёт дрожащим, надтреснутым голосом и вот-вот сорвётся на фальцет. Или голос совсем пропадёт, поскольку за ночь у неё пересыхает во рту, но она привыкла не пить по утрам, чтобы можно было причаститься. Слушать её невыносимо. Я затыкаю ватой уши, страдальчески вздыхаю, но терплю.

Терплю, поскольку она меня когда-то подобрала и спасла, как того самаритянина, ведь я, православный, и впрямь для неё самаритянин, а вот поди ж ты... Из благодарности я на ней женился, и у нас родились дети, очаровательная белокурая девочка и милые мальчуганы, ни слова не знающие

по-русски. Зато я говорю на языке Данте, как на родном. Родной же катастрофически забываю, почему и пишу тебе это письмо: борюсь, сопротивляюсь, тренирую ленивую память.

Окно открыто, поскольку осень у нас на редкость тёплая (холода наступают внезапно — вместе с наплывающими с гор туманами). Виноград вызрел до золотистого, рдяного, багряного цвета, леса на горных склонах пожелтели, дороги высохли и стали пористыми, как пемза. Сезон охоты ещё не закрылся, и в горах голубеют дымки от выстрелов (слава Богу, не было лесных пожаров, а то ведь случается, что выгорает по сотне гектаров).

Окно выходит во дворик католического собора, где настоятель держит свой старый, проржавевший автомобиль (некуда больше поставить), и по воскресеньям устраивают дискотеки для привлечения праздной молодёжи. В соборе мои жена и дети усердно молятся. У нас тоже боятся взрывов, и жена просит Бога сохранить и уберечь детей, да и меня, грешного.

Сам я на службу не хожу — ни на государственную, ни на церковную. Православного храма поблизости нет, надо ехать за сто вёрст, а менять веру на католическую я не спешу. Зачем? Может быть, они, католики, ещё поменяют свою на мусульманскую (к этому всё идёт), и мне придётся кричать с ними: “Аллах акбар!”

У меня же и без того хватает развлечений, и среди них есть одно на редкость трогательное, благородное и сентиментальное. Нет, я не учу попугая скабрёзным словечкам (да у нас его и нет), но в местной лавчонке мне уже давно улыбается молоденькая продавщица, беженка из Сербии, гладко причёсанная, с дырами на джинсах и хвостиком волос, стянутых чем-то вроде аптечной резинки: видно, что из бедных. Однажды я не захотел брать у неё сдачу и пошутил: “Это вам на свадебное платье”. Она была так тронута, что чуть не расплакалась. С тех пор мы собираем с ней и на платье, и на фату, и на аренду свадебного лимузина, и на гонорар фотографу, и накопилась уже вполне приличная сумма. Этак, глядишь, и впрямь выдам её замуж...

Сейчас я ненадолго прервусь, поскольку мои возвратились из церкви и надо их встретить, расспросить, как они молились, взять на руки и поцеловать детей, помочь жене раздеться (у неё недавно случился паралич левой руки). Так... всё в порядке. Продолжаю, если ты способна разобрать мои каракули и тебя ещё не сморил сон.

Ты помнишь семьдесят девятый год и нашу старую дачу с замшелым валуном перед крыльцом, разохшимся, скрипучим полом, стеклянными подвесками люстры и яблочной падалицей на подоконнике террасы? Ты её собирала, чтобы дозрела, она же только морщилась и чернела, и приходилось её выбрасывать, но не обратно под яблоню, а в *компот*, как произносила дочь наших соседей Маруся не слишком понятное ей слово *компот*, под которым разумелась огромная куча всего вянущего, тлеющего и гниющего, накрытого толем и кровельным железом. Рядом же стояло помятое сбоку ведро с брезентовой рукавицей, охватывающей ручку: в нём мы этот *компот* для удобрения разносили по грядам (кстати, при Марусе нельзя было произнести слово *ведро*, поскольку она тотчас исправляла его на *ведро*).

Под крыльцом у нас фукали ёжики. Мы выставляли для них блюдце с молоком, подзывая их всякими способами (главным образом, постукиванием камушком по блюдцу), пока его не ухитрялась вылакать своим малиновым языком соседская кошка.

А какие были зарницы в то лето! На полнеба, багряные, с каким-то жутковатым свинцовым отливом! Ты их очень боялась и зачем-то зажимала уши, а я говорил: “Ты глаза закрывай. Грома-то нет”. И ты отвечала на это: “Лучше бы с громом”.

И сколько было грибов в лесу, справа и слева от дороги. Впрочем, правую сторону мы считали более грибной, чем левую, слишком заросшую травой, устланную опавшими ёлочными иглами, заболоченную, заваленную полусгнившими деревьями, — словом, непроходимую и дремучую. К тому же там водились то ли ужи, то ли гадюки — без высоких резиновых сапог не пройдёшь. Зато на болотных кочках краснели шляпками подосиновики

с пористым исподом и крапчатыми ножками, и опять попадалось прорва — все пни были облеплены.

Правая же сторона — дубовые рощи, березняки, орешники — царство белых. Правда, белые иной раз оказывались ложные. Но и они так тебе нравились, что ты брала их в корзину, и мне приходилось незаметно выбрасывать, после чего ты, обнаружив пропажу, скулила и жаловалась: “Изверг! Ну, как ты мог! Никогда тебе не прощу”. И всё-таки прощала...

Уж мы и жарили, и солили, и сушили, хотя подосиновики для сушки-то не очень, но зато белые, аккуратно порезанные и нанизанные на нитку — роскошь, благоухание.

Приходилось изредка соприкасаться с цивилизацией — наведываться в местный магазин. Вернее, у нас было два магазина. Один мы называли “*На станции*”, поскольку он располагался за железнодорожным мостом, неподалёку от дачной платформы, и в нём можно было купить всего, даже подсолнечного масла (сливочное мигом сметали), гречки и замороженного доисторического мамонта, которого почему-то выдавали за корову или поросянка. Другой магазин находился подальше — *на ферме*, как мы говорили, хотя никакой фермы там не было: магазин как магазин. Правда, с одной особенностью. Он торговал только хлебом. Не чёрным, не белым, а особым, подмосковной выпечки — серым. Но зато всегда мягким (не успевал черстветь: раскупали) и, надо признать, отменно вкусным. Особенно если отломить горбушку, намазать маслом и посыпать сахарным песком: такая же дачная замена пирожному, как когда-то в детстве глазированный сырок — мороженому...

А помнишь наше дачное кино? Его крутили по субботам и воскресеньям, хотя иногда и в будни, если на них приходились праздники, всё равно оставившиеся буднями, поскольку по этому случаю лишь вывешивали флаг, вылинявший и поблекший от дождей. Даже водку не всегда завозили, чтобы не было очередей. Всё прочее происходило там, в Москве. Праздника из Москвы на Подмоскowie уже не хватало, поэтому и показывали кино, чтобы как-то сгладить и скрасить...

Афишу, написанную от руки, вывешивали на фонарном столбе, рядом с магазином, и сеансов было два — в семь и в девять. Мы, как и все добропорядочные дачники, всегда ходили на семь, поскольку девятичасовой сеанс облюбовала местная шпана или хулиганьё, как их у нас называли, хотя я не уверен, что они дотягивали до настоящего хулиганья. Во всяком случае, ножей с собой они не носили — только рогатки. Они позволяли себе лишь свистнуть в два пальца во время сеанса, заготовать при сценах с поцелуями и закурить самодельную папиросу, набитую наполовину табаком, наполовину — истолченными дубовыми листьями или желудями. Словом, были они скорее позёры, чем хулиганы и шпана, хотя могли и пристать, но если им ответить на их языке («Отвали!»), то сразу и отставали.

Когда кино привозили в особых круглых коробках, открывалось (заслонка отпадала вовнутрь) окошечко кассы, и продавали билеты — синие, с написанными карандашом номерами ряда и места. В первых рядах сидела малышня с родителями, причём дети даже не садились, чтобы никому не заслонять экран, а жались по стенкам. Во время экранных поцелуев мамы ладонями закрывали малышне глаза, иные же из детишек сами честно зажимуривались, хотя ухитрялись одним глазом подглядывать.

Повторяю, всё это происходило в первых рядах. Мы же, люди солидные, брали восьмой или девятый.

Фильмы были либо старые советские, либо индийские, но на даче других и не требовалось. Странно было бы крутить Феллини или Антониони, а вот “Чапаева” или “Бродягу” — пожалуйста, в самый раз.

И ты помнишь, конечно, наших соседей по даче — правых, левых и задних, как мы их называли, причём для задних имелось ещё одно название — Болото или Болотная площадь, которая через много лет прославилась тем, что там собиралась оппозиция. Мы этого, конечно, предвидеть не могли, да и вообще прозвища наших соседей никак не были связаны с их идейными взглядами и никоим образом не указывали на принадлежность к тем или иным течениям. Нет, правизна означала правую сторону нашего участка, а левизна —

левую. Соответственно, и задних мы так именовали не за их отсталость и косность, а за местонахождение там, на самых задах, где у нас плесневело болотце. И, как мы ни пытались его осушить, откачать насосом ржавую воду, засыпать торфом и посадить хотя бы картошку, ничего не получалось. Сквозь торфяную насыпь всё равно булькало, под ногами чавкало и чмокало, гряды размывало, и посаженная картошка шла на ужин болотной кикиморе.

“Господи, о чём он пишет!” — наверное, думаешь ты, читая эти строки. Я пишу о нашей любви, дававшей всему имена, как Адам — творениям Божиим. А посему разреши мне продолжить...

Правых соседей отделял от нас отчасти полусгнивший, трухлявый забор, отчасти — ряды малины с протянутой вдоль них — поверху и понизу — алюминиевой проволокой. Малину соседи у нас подворывали, причём срывали самые вызревшие, спелые ягоды (ты часто это замечала, но была выше того, чтобы их уличать, и иногда даже сама угощала, чтобы им не приходилось себя особо утруждать). Мы их прозвали Балконские, поскольку у них вся дача была облеплена балконами и балкончиками, находившимися на разной высоте, застеклёнными и не застеклёнными, а лишь накрытыми шиферными навесами с волнистыми бороздками, тронутыми мхом, усыпанными желудами и сосновыми иглами.

По левую же сторону от нас обитали Лонгшезы (это, разумеется, тоже прозвище), странное семейство, состоявшее из мужа, жены и облысевшей старухи с малиновым теменем, молчаливых, замкнутых и диковатых, обычно выбиравших для отдыха ту сторону дачного участка, где не было солнца. Там, в тени дома, они вешали между елей гамак и туда выносили шезлонги, которые называли почему-то лонгшезами. Это слово им невероятно нравилось, и они произносили его намеренно громко, чтобы слышали на соседних дачах: “Куда ты убрала вчера новый лонгшез?”, “Подвинь, пожалуйста, мой лонгшез чуть правее”, “Не оставляй в лонгшезе свои очки. Я их чуть не раздавил, когда сел”.

А вот по задней, заболоченной границе участка, там, где забора совсем не было (только прохудившаяся и прорвавшаяся проволочная сетка), мы соседствовали с семейством коменданта высотного дома на Котельнической набережной. Ты прозвала его Два Васнецовых, на что был особый повод. Комендантскую службу он доблестно нес с середины тридцатых до начала сороковых, пока не грянула война и его не послали на фронт. Звали нашего соседа несколько странно для коменданта: Аполлинарий Викторович (да и сам он был человек странноватый). Сию причуду учинил с ним отец: названный по имени одного из Васнецовых, он дал своему сыну имя в честь другого Васнецова. Таким образом, тот соединил в себе двух Васнецовых — Виктора и Аполлинария.

Казалось бы, это должно было пробудить в сыне страсть к искусству, подвигнуть его на свершения в области живописи. Но художником наш Аполлинарий Викторович не стал. Хотя как комендант высотного дома знал (по его собственному выражению, знал) многих живописцев, архитекторов, артистов, писателей, академиков из числа там живших, как чудом избежавших ареста, так и в конце тридцатых благополучно арестованных. Арестованных и осуждённых *в силу государственной необходимости*, как он говорил, их не осуждая и даже им сочувствуя, но государственную необходимость всё же ставя гораздо выше.

Аполлинарий Викторович охотно рассказывал, как его подопечные наслаждались жизнью до ареста, принимали гостей, заводили граммофон с раструбом и шипящей иглой, веселились, танцевали, чудили, озорничали, балагурили, актёрствовали, но при этом непременно поднимали первый бокал за вождя, а второй — за партию. Рассказывал, с какими просьбами и жалобами к нему обращались и как их по ночам тихонько брали (ему приходилось при этом присутствовать), хотя эти рассказы не были главным его увлечением. Больше всего он любил порассуждать об *архитектуре*, архитектурой же считал лишь павильоны ВДНХ, станции метро, аллеи ВЦПКиО имени Горького и, разумеется, сталинские высотки, каждая из которых, по его мнению, была памятником Вождю.

Нас он однажды спросил, подводя со своей стороны насос, чтобы помочь осушить болотце:

— А вы где изволите обитать?

Мы ответили, что как раз в одной из высоток и обитаем, только не на Котельнической набережной, а на площади Восстания, бывшей Кудринской.

Услышав это, он просиял.

— Так вы же живёте в раю!

Нам это было приятно услышать, но всё же мы сочли уместным немного поскромничать, отказаться от такой чести:

— Ну, какой там особенный рай...

Он даже руками замахал, словно ничего неуместнее и нелепее нашей скромности не мог себе и представить.

— Да как вы!.. Как вы можете! Вам выпало такое счастье, о каком другие не смеют и мечтать. Я вам так скажу: вы — избранные, начаток Царства Небесного. Я Библию-то читал и сведения о ней имею. Поэтому скажу и повторю не раз: вас избрали как делегатов в Царство Небесное. У вас есть всё, абсолютно всё. Ваш дом — символ изобилия. Вы получили не только квартиру, но и всё необходимое для счастливой жизни, включая даже мебель. Даже столы, диваны, кресла вам предоставили. Вот она, истинная архитектура!

Мы не знали, что на это ответить: не решались ему возразить и в то же время не могли с ним согласиться и поэтому одновременно и кивали головой, и пожимали плечами, словно возражение было согласием, а согласие — возражением.

Он же, вдохновлённый нашим вниманием, стал увлечённо рассуждать, что Москва недаром стоит на семи холмах, что каждым своим холмом она уподоблена раю, что архитекторы во главе с самим великим Щусевым, мистиком и тайнозрителем (рудознатцем), специально проектировали мебель для высотных домов, чтобы уподобить их Царству Небесному.

В конце концов, мы почувствовали, что возразить ему ничем не можем и что наше изнеможение от всего услышанного (изнеможение, близкое обмороку) означает безоговорочное согласие. Иными словами, мы выбросили белый флаг. С этих пор он проникся к нам особым подобострастным почтением, как к небожителям, обитателям рая. И они с женой стали часто у нас бывать.

Жену Аполлинария Викторовича звали под стать ему — Лаурой Францевной. Тебя всегда смешило это имя, и ты говорила: “Если бы её отца звали не Франц, а Франческо или хотя бы Франциск, то в ней Петрарка сочетался бы желанным браком со своей возлюбленной”. Однако ты считала, что имя — так же, как и внешность, — не может быть предметом насмешки, и поэтому с подчеркнутым уважением, даже отчасти пиететом выговаривала: “Здравствуйте, Лаура Францевна”, “Как вы себя чувствуете, Лаура Францевна?”, “Лаура Францевна, вам взять на ферме хлеба?” На последний вопрос Петрарка и его возлюбленная отвечали милостивым согласием: “Возьмите, милочка, если вас не затруднит”.

Лаура Францевна была маникюршей и мозольным оператором в том самом доме на Котельнической, где когда-то служил её муж (умела сохранять клиентуру). Стареющие львицы высотки доверяли ей даже самые любимые мозоли, поскольку она их так искусно срезала, как великий Петрарка слагал свои сонеты. При этом она умела поддерживать разговор об астрологии, гороскопах, мумии и прочих предметах, что создавало ей репутацию светски образованной дамы, которой можно доверять свои секреты.

И доверяли, ещё как доверяли! Лаура Францевна была носителем секретов всей высотки и — что греха таить! — делилась ими с соответствующими инстанциями (а как не поделиться!). Нам она на это усиленно намекала, да мы и сами догадывались...

Кроме того, пользуясь благосклонностью высоких инстанций, она развернула бурную предпринимательскую деятельность: на заказ вышивала салфетки под слоников и фарфоровых балеринок, вытягивающих ножку, а также вязала кофты, свитера, кардиганы и дорожки, накрывавшие клавиатуру

громоздких, чёрных, чудовищных по звучанию отечественных пианино (впрочем, попадались и трофейные немецкие). Немного шила, вернее, ушивала и подшивала платья, горжетки, кардиганы, которые сама же приносила на продажу в большом, перетянутом ремнями бауле.

Их приёмная дочь Маруся училась играть на скрипке при полном отсутствии способностей и поэтому немилосердно пилила, особенно с утра, и им приходилось спасаться у нас. Хотя они, конечно, не подавали вида, что спа­саются, а навещали нас будто бы по-соседски, наносили светские визиты. Если мы при этом завтракали, то, конечно, приглашали их к столу, на что они охотно соглашались, хотя и не с первого раза: приличия есть приличия, и от первого приглашения они томно и меланхолично отказывались.

Но, в конце концов, всё же соглашались, быстро осваивались за столом, а потом и вовсе забывали, кто — хозяева и кто — гости. Во всяком случае, распоряжались всем по-хозяйски. И Аполлинарий Викторович говорил жене: “Попробуй творожок, очень полезный”, — и сам жадно опустошал тарелку (даже крошки сметал в ладонь и отправлял в рот). Или пододвигал к жене блюдо со сливами: “Выбери покрупнее. Надеюсь, они мытые”.

Ещё он говорил, обращаясь к ней так, словно его приглашение относилось также и к нам: “Я выписал свои недостатки на отдельном листочке и пронумеровал. Вот послушай...” Доставал листочек и начинал зачитывать список своих недостатков. На слове *неврастения* Лаура Францевна прерывала его: “Это не недостаток, а болезнь. К тому же я сомневаюсь, что ты ей подвержен, хотя иногда ты бываешь невыносим. Впрочем, как и я”. Она улыбалась нам так, словно её самокритичность как гостя была проявлением любезности по отношению к хозяевам. Он тоже улыбался, будто её любезность распространялась и на него, но всё-таки не соглашался с тем, что его неврастения — это болезнь: “Нет, дорогая, в той мере, в какой я способен её контролировать, это всё-таки недостаток”.

Однажды Аполлинарий Викторович с торжествующей доверительностью нам сообщил, что они давно хотели взять из детского дома мальчика, присматривались, выбирали и вот, наконец, выбрали, хотя, может быть, и не до конца уверены в собственном выборе. Но всё-таки выбрали же, выбрали, и это главное — прочь все сомнения. Если почувствуют, что ошиблись, мальчика можно будет вернуть: такая договорённость с детдомом есть. Мальчик, по-видимому, сложный, с характером, волчонок — может и уку­сить! — из тех, кого называют дворовыми или уличными. Но чем-то им понравился, потрафил (словцо Аполлинария Викторовича), приглянулся. В обиду себя не даст, нюни распускать не станет. И к ним постепенно привыкнет. Главное, чтобы не обворовал и не сбежал, ха-ха.

Это, разумеется, шутка. Он тоже к ним потянулся, хотя других (его уже не раз пытались усыновить) признать за родителей наотрез отказывался. Да и фамилия у них совпадает: они Казначеевы, и он Казначеев. Словом, решено. Документы на него уже оформлены. Дня через три можно забирать. Со своей сестрой Марусей он уже знаком (Казначеевы брали её с собой в детдом). Привезут на дачу и тогда познакомят с нами. Непременно познакомят, почтут за честь, так сказать. Им важно будет узнать наше драгоценное мнение.

Мы их, конечно, поздравили и пообещали поделиться своим мнением, хотя заранее были уверены (вежливая предубеждённость), что мальчик нам понравится. Ты им даже преподнесла букет гладиолусов с клумбы перед нашей террасой (у них даже самих цветы то ли не росли, то ли они их не сажали).

Всю неделю они готовились, что-то устраивали, передвигали, сушили на солнце подушки, старой теннисной ракеткой (Лаура Францевна когда-то училась, и у неё была хорошая подача) выбивали пыль из матраса и мыли полы. С террасы на крыльцо текли мутные ручейки воды, и Аполлинарий Викторович, согнувшись и расставив ноги, шарил тряпкой под шкафами и буфетами...

В назначенный день привезённого из Москвы мальчика сразу привели к нам знакомиться. Он оказался Богданом и вовсе не волчонком, а, наоборот, аккуратным, чистеньким, выглаженным, причёсанным на прямой пробор,

красивым голубоглазым четырнадцатилетним мальчиком. Портили его только вставные железные зубы, вынуждавшие держать рот приоткрытым, поскольку они были изготовлены явно не по мерке (ты тогда читала “Сон в красном тереме”, и поэтому мы прозвали его Железный Рот). И почему-то правую руку он держал постоянно в кармане, отчего одно плечо было опущено, а другое, наоборот, приподнято. Заметив это, Лаура Францевна сказала:

— Дорогой, пожалуйста... — Она сочла, что этого намёка достаточно и не стала ничего добавлять, ожидая, что Богдан и так выполнит её просьбу.

Но тот посмотрел на неё вопросительно и удивлённо, словно не понимал, о чём она просила.

— Пожалуйста, вынь руку из кармана, а то ты весь искривился. К тому же наши милые соседи могут подумать, что ты у нас плохо воспитан.

Богдан вынул руку и тотчас снова засунул её в карман.

— Что у тебя там? Покажи, — уже не попросила, а раздражённо потребовала Лаура Францевна, улыбаясь в нашу сторону и этим показывая, что её раздражение к нам не относится.

— Ничего.

— Как это ничего, если ты отказываешься вынуть руку? Покажи или я выверну тебе карманы.

— Выворачивайте.

Он так спокойно и равнодушно принял её угрозу, что Лауре Францевне после небольшой смущённой заминки пришлось отступить.

— Разумеется, я не буду этим заниматься, но ты должен показать. В конце концов, я настаиваю.

Он безразлично пожал плечами и достал из кармана что-то, зажатое в кулаке.

— Что это? — Лаура Францевна брезгливо отшатнулась. — Разожми и покажи.

В полном соответствии с её словами он разжал и показал.

— Что это, я спрашиваю?

— Свинчатка.

— Зачем она тебе?

— А если меня будут бить?..

Лаура Францевна была настолько поражена услышанным, что словно бы задохнулась от удивления и сострадания.

— Милый мальчик! Кто тебя будет бить! Здесь у тебя нет врагов, тебе ничто не угрожает. Ты у себя дома. Ты теперь наш сын. Ты носишь нашу фамилию. Умоляю тебя, выброси сейчас же эту гадость.

— А лучше отдай её нам, — попросила ты, протягивая руку за свинчаткой так, как её протягивают для рукопожатия, и словно обещая со своей стороны самую искреннюю дружбу, если с его стороны почувствуешь хотя бы чуть-чуть доверия.

Но Богдан не отдал свинчатку в чужие руки, а словно бы выронил её, чтобы она упала здесь же, неподалёку. Тогда Аполлинаруй Викторович нагнулся, взял свинчатку в руки и зашвырнул подальше — за кусты смородины, где она звякнула о забытую там лейку.

— Ну, вот и хорошо. Не будем об этом вспоминать. Познакомься с нашими соседями. Скажи им, как тебя зовут...

— Богдан Казначеев... — Он беспокойно поглядывал в сторону, стараясь запомнить место, куда улетела свинчатка.

— Так и договоримся, что теперь ты не наш однофамилец, а с полным правом носишь нашу фамилию. И меня можешь называть мамой, а Аполлинаруй Викторовича... — Она поймала себя на том, что выдаёт слишком много авансов. — Впрочем, не сразу. Когда немного привыкнешь. И вообще тебя здесь ни к чему не принуждают. Теперь попрощайся с соседями, и я покажу тебе твою комнату.

Он кивнул нам на прощание и, пока его уводили, постоянно оглядываясь, стараясь не потерять из виду место, куда улетела свинчатка. Ты дружески махнула ему рукой, но на тебя он даже не посмотрел.

Лишь только с заднего участка доносились знакомые пиликанья (скрипичные гаммы), ты замирала, со значением подняв измазанный смородиновой мякотью палец, словно тебе удалось запеленговать позывные неприятеля. Затем выставленными перед собой ладонями делала мне знак, убеждающий не сомневаться, что за этим последует обычное продолжение, и с весёленькой обреченностью говорила: “Ну вот, сейчас пожалуют”.

Действительно, неприятель строевым шагом выдвигался в приграничный район. Казначеевы отгибали проволочную сетку, осторожно и боязливо протискивались между сеткой и берёзовым кольшком, к которому она была прибита, и, широко ступая по болотным кочкам, пробирались на нашу территорию.

Пробирались, чтобы отбыть у нас положенный срок, пока Маруся занималась, и, конечно же, не отказывались от приглашения позавтракать с нами, хотя ради приличия, как всегда, изображали невинность, разыгрывали смущение и нерешительность: “Да уж мы тут на скамеечке... немного посидим. А вы завтракайте и не обращайтесь внимания”. Однако долго их упрашивать не приходилось, и они садились за стол, и всё повторялось в обычной последовательности: они угощали друг друга творогом, а затем Аполлинаруй Викторович зачитывал очередной список своих недостатков.

Но этому уже не придавалось прежнего значения, поскольку по их поведению чувствовалось, что они только и ждали от нас вопроса, а как там их мальчик. И когда вопрос задавался мною или тобой (почему-то мы следили за тем, чтобы меж нами соблюдалась строгая очередность), они принимались наперебой рассказывать, как у них всё мило, чудесно, замечательно, лучшего и желать нельзя. Богдан учтив, послушен, услужлив, исполнительен. Что попросишь — сделает, пошлешь — принесёт. И ни слова поперёк, никаких ломаний и капризов. Правда, рот его портят варварски вставленные передние зубы, некогда выбитые в драке, но со временем их можно будет заменить на новые...

С Марусей у них прекрасные отношения, полное взаимопонимание. Он следит, чтобы она не забывала по утрам причесываться, надевать золотой крестик (а не оставляла его где попало) и постоянно носила корсет для выпрямления позвоночника. По утрам он остаётся её слушать и запрещает выходить из комнаты, пока Маруся не отыграет всех гамм (поэтому и не приходит с нами завтракать).

Но постепенно, рассказывая об этом, Лаура Францевна стала часто замолкать и задумываться, словно что-то её беспокоило и тревожило, — разумеется, без всякой на то причины (была бы причина — не стоило бы и тревожиться). Она пыталась овладеть собой и по-прежнему улыбаться, но не могла усидеть на месте. Привставала и теребила на груди платье, словно ей было душно и что-то мешало дышать.

— Нет, я пойду и взгляну...

— Сиди спокойно. Не суетись, — останавливал её Аполлинаруй Викторович, всем своим видом наглядно демонстрируя, что сам он сидит и не суетится.

— Нет, я должна посмотреть, чем он там занимается...

— Господи, чем он может заниматься!

— Нет, я должна. Это не прихоть, а необходимость.

— Ты им только помешаешь. Разрушишь, так сказать, идиллию. — Округлыми жестами он изображал в воздухе нечто, символизирующее идиллию.

— Что-то мне не нравится эта идиллия. — Она повторила его жесты, не скрывая своё пренебрежение и к ним, и к тому, что за ними скрывалось. — Скажу, что похолодало и мне надо взять кофту.

— Если тебе нужна кофта, я сейчас принесу. — Он с готовностью встал и вопросительно посмотрел на неё.

— Да не нужна мне твоя дурацкая кофта. Я хочу взглянуть.

— Ты же слышишь, что она играет.

— Это значит: *в лесу раздавался топор дровосека*.

— При чём здесь дровосек? Маруся играет, а он сидит рядом с часами в руке.

— Я отнюдь не уверена. — Она разгладила на коленях платье и с вызовом обратила к нему лицо.

— В чём? — спросил он и постарался исправить впечатление от своего глуповатого вопроса умным выражением лица.

— В том, что всё именно так, как ты рисуешь. Ты у нас известный рисовальщик.

— А ты у нас зато прекрасно лепишь. Лепишь какую-то чепуху. Ерунду.

— Спасибо, дорогой. Вот я и заслужила на старости лет... Ты, как всегда, любезен.

— Не стоит благодарности...

Так они долго препирались и обменивались колкостями. Наконец, Лаура Францевна соглашалась проявить благоразумие, но с одним условием: пусть кого-то делегируют вместо неё. Посылали меня. Вернее, я сам вызывался разведать и доложить обстановку на их участке. Лаура Францевна одаривала меня исполненным томной благодарности взглядом. Минут через десять я благополучно возвращался и сообщал, что у них всё в порядке, Маруся занимается, и из окон слышатся божественные звуки.

— А Богдан там? Рядом с ней? — спрашивала Лаура Францевна так, словно только ответ на этот вопрос позволял сделать вывод, выполнил ли я возложенное на меня ответственное поручение.

— А где ж ему быть! — Аполлинарий Викторович опережал меня с ответом, вся значимость которого заключалась в том, что он был известен ему заранее.

На следующий день, как ты помнишь, нас неожиданно посетил Богдан.

Он появился неслышно и незаметно: просто неожиданно возник на пороге террасы, готовый так же незаметно и неслышно исчезнуть, если окажется, что он не вовремя, кому-то помешал, вызвал неловкость, создал неудобство и проч., и проч. Ты на другой стороне дома, под окнами, собирала в ведёрко крыжовник, хотя он ещё был наполовину зелёный и кислый. Но ты собирала для компотов и варенья и поэтому не придавала особого значения тому, созрел он или нет. Я сидел за столом, перед самоваром и допивал чай с прошлогодним вареньем, засахарившимся в горлышке банки до твёрдой корки. Корку эту приходилось пробивать, взламывать, продавливать, а затем просовывать в неё ложку, чтобы зачерпнуть варенья.

— Вы живёте в высотном доме? — спросил Богдан, постояв некоторое время, после чего, как он считал, можно было не здороваться, не докладывать о своём прибытии и не размениваться на прочую ненужную чепуху. — Там у вас правда рай?

Я помолчал немного, что освобождало меня от столь же обязательного, сколь и ненужного соблюдения приличий, приветствий и расспросов. Я также считал излишним угощать его чаем, поскольку чай остыл, а снова заваривать мне не хотелось. Моё гостеприимство выразилось в том, что я, повернувшись к нему лицом, с такой же серьёзностью ответил на его вопрос, с какой он был задан. При этом я заметил, что он кривил на сторону рот, чтобы не показывать мне передние зубы, а правую руку снова, как и при нашем знакомстве, держал в кармане.

— Во всяком случае, до рая недалеко, ведь мы живём на двадцать четвёртом этаже. Выше нас только рай.

— Ух ты! — Он не стал скрывать своего удивления, хотя оно могло быть истолковано по-разному. — Как высоко, дяденька!

— Я тебе не дяденька, а Валентин Дмитриевич. Запомни. А ты что, заводишь?

— Я бы тоже не отказался, если бы предложили...

Я позволил себе слегка порезонёрствовать:

— На добрых дяденек не надейся. Никто не предложит. Добивайся сам. Всего можно добиться.

— А как? — Он готов был сейчас же начать добиваться, только бы узнать верный способ.

— Всё тебе расскажи. Вот ты в сентябре пойдёшь в школу...

Богдан разочарованно произнёс:

— Ой, только не говорите, что надо хорошо учиться, сидеть на первой парте и прочую лабуду. Моя школа со специальным профилем. Та же ремеслуха...

— Всё равно... Любая учёба — залог будущей социализации, — наставлял я после чая с вареньем (варенье мазал на хлеб) так, как вряд ли стал бы наставлять до чая.

— Чего-чего? — Он словно не решался допустить, что можно всерьёз верить в подобные заморочки.

— Вот видишь, ты и слов таких не знаешь.

— Слова-то я знаю, но в жизни мне не подняться выше второго этажа. Это мне, дяденька, не по зубам...

— Опять ты с дяденькой!..

— Извиняюсь.

— Не извиняюсь, а извините. А насчёт всего прочего ошибаешься. Зубы тут ни при чём. Голова важна.

— С головой у меня в порядке, только я психованный...

— Вот тебе и раз! — Я всё-таки решил, что без чая не обойтись, и поставил на плиту чайник. — В чём же это у тебя проявляется?

— Могу насмерть влюбиться, как однажды в учительницу.

— Ну, это бывает в твоём возрасте.

Он подумал, что-то про себя смекнул и произнёс:

— Могу влюбиться в вашу жену.

— Это безнадежно, пожалуй...

— Почему?

— Всё-таки, знаешь, жена...

— Ладно, спасибо. Я пошёл, — сказал он и даже не двинулся с места.

— Садись. Чаю выпей. Ты, может, чего-нибудь хотел?

— Да вещицу одну вам показать.

Богдан изобразил нерешительность, словно не он хотел показать мне вещицу, а я просил его об этом.

Я хоть и не просил, но всё-таки сказал:

— Покажи.

Он достал из правого кармана маленькие золотые часики.

— Смотрите. Но только из моих рук.

— Да что я — отниму у тебя?

— Так... на всякий случай.

— Ну, часики... откуда у тебя?

— От верблюда.

— Не груби.

— В траве нашёл. Кто-то потерял, а я нашёл. Не купите?

— Да зачем они мне!

— А вы подумайте. Прикиньте. Может, понадобятся. Пусть у вас лежат.

— Ну вот... то из рук не выпускал, а теперь отдаёшь.

— Я вам доверяю. Заодно и браслет возьмите. — Он достал из того же кармана обсыпанный блёстками браслет и протянул мне.

— Тоже нашёл? Какой ты везучий...

— Подфартило. Я дня через два зайду.

— А чай?

— После. Если вашей жене вещички понравятся, я дарю, — сказал он напоследок, спрыгнул с крыльца (не на замшелый валун, а прямо на землю) и мгновенно исчез.

Помнишь, как ты была польщена тем, что мальчик сделал тебе такой подарок, и, конечно, не удержалась от колкости в мой адрес, не упустила случая меня упрекнуть:

— От тебя, милый, никогда не дождёшься. Ты предпочитаешь тратить деньги на что угодно, только не на жену.

Я не выдержал и воскликнул с тем дрожанием в голосе, которое возникло у меня от искреннего возмущения и негодования:

— Да вещи-то краденые, неужели не понимаешь?! К тому же это пошло — ждать, чтобы на тебя тратили деньги. Ты же не содержанка.

— Уличил. Ты меня уличил. Поздравляю. — Тебе вдруг стало себя жалко, черты лица скривились и расплылись (гримаса обиженной девочки), и в глазах блеснули слёзы.

— Ну, прости... — Я уже раскаивался в том, что всё это начал. — Но радоваться подаркам какого-то мальчишки, да ещё с железными зубами...

— Всё равно, — загадочно произнесла ты. — Мальчишка — не мальчишка... Всё равно любой женщине приятно. К тому же он мог и найти. И даже накопить денег, чтобы купить эти вещи.

Нет, вторая версия была для тебя не столь желанна. Тебе именно хотелось думать, что ради тебя украли, совершили отчаянный поступок, решились на преступление. Ты торжествовала — это был твой триумф. И когда к нам пожаловали Казначеевы — не утром, как обычно, а ближе к вечеру, почти в сумерках — и стали спрашивать, не оставял ли у нас Богдан каких-либо вещей, ты поспешила их заверить:

— Нет, не оставял. Какие, собственно, вещи? Вздор! И зачем ему у нас оставлять!

Аполлинарий Викторович попытался деликатно пояснить, не вдаваясь в подробности:

— Там дачники волнуются... У них обнаружилась пропажа. Вот мы и решили на всякий случай...

— Нет, нет! Могу вас уверить... — Для подтверждения своих слов ты даже спросила меня: — Не оставял ли? Может быть, в моё отсутствие? Когда меня не было? — спросила, надеясь, что я тебя поддержу и Богдана не выдам.

Когда же я молча вынес вещи, посмотрела на меня с презрением как на предателя.

— Эти? — спросил я, показывая им часики и браслет и стараясь оставаться недосягаемым для твоего уничтожающего взгляда.

— Откуда? — в один голос радостно воскликнули Казначеевы.

Я опустил глаза, заручаясь правом не отвечать на этот вопрос.

— Значит, всё-таки он. — Казначеевы переглянулись для того, чтобы вместе сделать печальный вывод. — Пока Маруся играла на скрипке, он очистил соседние дачи, а затем явился к вам, чтобы сбыть краденое.

После этих слов тебе, конечно же, стало неловко. Чтобы спасти твою репутацию, я произнёс:

— В твоё отсутствие, дорогая. Ты в это время собирала крыжовник.

Ты одарила меня принуждённой улыбкой, означавшей, что я из ненавистного предателя превратился в такого же ненавистного спасителя. Впрочем, мальчика мы спасали вместе.

Казначеевы забрали часики и браслет, чтобы вернуть законным владельцам. Они немного посовещались, пошептались (мы издали видели их сосредоточенные и озабоченные лица) и в тот же вечер вернули, особо не распростираясь, как они к ним попали, умалчивая об этом, не раскрывая всех карт. Напротив, ту карту, на которой был изображён валет (Богдан), они старались спрятать, замаскировать, засунуть под самый низ колоды. Зато дамами, королями и тузами охотно козыряли, выкладывали их — картинками вверх — на карточный стол.

Получалось, что вещи были обнаружены ими случайно: кто-то принёс, оставил, положил на край скамейки и исчез, а кто именно, они и не заметили, не обратили внимания. Мало ли у них толчётся и мелькает всякого народа. Молочница свои бидоны приносит, плотники молотками стучат, крышу чинят, прохудившуюся за лето, землекопы новый колодец роют взамен старого, наполовину сгнившего, — вот и просмотрели. Замешкались, на что-то отвлеклись и проворонили, прошляпили... С кем не бывает?..

Так они объяснялись с потерпевшими (помимо часиков и браслета, в тайнике обнаружилось ещё кое-что). Словом, постарались замазать это дело...

Кажется, это им удалось, и потерпевшие не стали поднимать шум, допытываться, доискиваться и заявлять в милицию. Но Богдан не избежал

домашнего разбирательства и суда, на котором Маруся выступила как свидетель. Мы со своей дачи кое-что слышали, о чём-то догадывались, о чём-то Казначеевы нам потом сами рассказали. Картина складывалась такая. Свидетеля судьи допрашивали, и Маруся призналась, что во время её игры брат несколько раз куда-то исчезал. Исчезал надолго, почти на час, а затем возвращался и что-то прятал в свой тайник, устроенный под диваном.

Она примерно показала место, и тайник обнаружили между задней ножкой и подпоркой из кирпичей, поддерживавшей провалившееся днище. Там хранился целый склад краденого...

После обнаружения тайника из открытых окон до нас долетали возгласы: “Как ты мог?! Сын у нас вор! Да тебя надо сдать в колонию!” Было слышно, что обсуждались меры наказания, в том числе и ремень. Но Богдан в ответ на это угрожающе тихо произнёс: “Если тронете, повешусь. Вам же придётся из петли вынимать”. И ремень отпал. Лаура Францевна предложила оставить Богдана без сладкого к обеду, но это было совсем наивно (и невинно) и свидетельствовало о явной беспомощности судей. “Я сладкого и так не ем”, — ответил на это Богдан.

Тогда перешли к воспитательным мерам. Главным средством воспитательного воздействия выбрали нас с тобой: я слышал, как назывались наши имена. Но подробно мы обо всём узнали на следующий день за завтраком: после трёхдневного отсутствия (скрипка тоже молчала, пока продолжалось разбирательство) Казначеевы нас снова посетили. При этом оба держались не прямо, как обычно, а наклонялись вперёд, словно прямая спина не позволяла придать их словам ту вкрадчивую доверительность, с которой они собирались к нам обратиться.

— Вы на днях собираетесь в Москву? — спросили они, напоминая нам наше собственное признание, о котором мы, может быть, и забыли, а вот они за нас вспомнили. — Умоляем, возьмите с собой Богдана. Нам хочется, чтобы он хотя бы раз побывал в высотном доме. Пусть посмотрит на этот рай. Мы так надеемся, что это его чуть-чуть облагородит, внушит ему другие представления о жизни, поможет ему избавиться от вредных наклонностей и привычек.

Мы согласились, хотя и не без некоторого оттенка недоумения (во всяком случае, с моей стороны).

— Ну, давай мы тебе всё покажем, — произнесла ты, открывая высокую входную дверь, пропуская Богдана первым в нашу квартиру и намеренно зажигая лишь одну лампу из трёх, освещавших прихожую. Зажигая так, чтобы не рассеялся полностью окутывавший её сумрак, для тебя не столько таинственный, сколько помогавший скрыть паутину по углам, отслоившиеся обои и покоробившийся паркет. — Жаль, у нас давно не было ремонта...

Это ты сказала зря. Этим что-то нарушила, на минуту превратила нашу квартиру из святилища, преддверия рая в обычное жилище. Во всяком случае, мне так показалось, поскольку я на всё смотрел глазами Богдана. Но я ошибся. Самого Богдана это ничуть не разочаровало. Он весь был во власти того восторга, изумления и благоговейного трепета, с каким оглядывал наш дом снаружи вместе с окружавшими его роскошными магазинами, кафе, почтой и двухзальным кинотеатром “Пламя”. В центре главного гастронома Богдана поразил аквариум с редкими, причудливого вида деликатесными рыбами, водорослями и камушками. С таким же трепетом Богдан поднимался в скоростном лифте к нам на двадцать четвёртый этаж. Поднимался, зачарованно следя за мелькавшими в светящихся окошечках цифрами, обозначающими номера этажей.

Поэтому отсутствию ремонта и прочим мелочам, досадным для тебя, он не придавал никакого значения. Он даже не расслышал, что ты там сказала про ремонт. Или притворился, сделал вид, что не расслышал.

Мы повели его по квартире, показывая комнаты и мебель.

— Та самая? — спросил он, имея в виду что-то своё, нам неведомое, но ты с уверенностью ответила:

— Конечно, та самая.

И со значением — авторитетно — кивнула, показывая, что *в этом* не может быть никаких сомнений.

Затем мы сели за стол, и ты принесла чай, к которому Богдан, однако, не притронулся, не скрывая недоумения по поводу того, что можно пить чай в *таком* месте.

— Да, квартирка что надо. Хотел бы я в такой пожить, — сказал он, отодвигая от себя чашку, а затем снова придвигая к себе, чтобы не вызвать неудовольствия хозяев. — Я бы даже согласился, чтобы в такой квартире меня выпороли. Я бы стерпел.

Мы с некоторой принуждённостью рассмеялись.

— Ну, и странный у тебя критерий! Абы где ты на порку не согласен. Тебе нужны подходящие условия.

— А то! — Богдан счёл нужным немного порисоваться, себя показать и принял соответствующую позу. — Если бы вы меня усыновили, я бы всё стерпел.

— Спасибо за доверие, но, видишь, нас опередили... — Я изобразил сожаление, не особо заботясь о том, чтобы его сочли искренним.

— А если б не опередили, вы бы меня взяли?

— Ну, что тебе ответить? Собственно, у нас не было таких планов, — начал я, но ты меня поспешно перебила:

— Взяли бы, взяли. Как такого молодца не взять!

— Тогда я от них сбегу. Я к ним совсем не вернусь.

— Экий ты, однако. — Я решил его немного осадить. — А ты нас из инвалидного дома возьмёшь, когда нам будет по девяносто лет?

— Возьму. Но только перед этим сделаю у вас ремонт.

— Тогда моя мечта наконец-то осуществится. Но, к сожалению, по девяносто нам никогда не будет. При такой жизни нам сразу исполнится сто, — сказала ты и рассмеялась так, что никто не услышал твоего смеха.

На этом моё длинное письмо можно было бы и закончить, поскольку об остальном ты помнишь лучше меня. У меня же в башке туман и определённости, увы, никакой. Напротив, всё путается, зыбится, расплывается, и я могу сказать обо всём лишь коротко, чтобы не соврать. Врать уж больно не хочется. Очень уж мы изоврались...

В середине девяностых мы с тобой бедствовали, поскольку всего лишились, остались ни с чем. Всё смолотил железный рот. Наш прославленный, орденоносный завод имени Розы Люксембург закрыли и никак не могли поделить, только отстреливали друг друга в подъездах. Я нигде не работал и томился от безделья, лёжа на диване с романом “Сон в красном тереме”, всё почему-то со вторым томом. А ты за жалкие гроши гуляла с соседскими детьми — этакая няня-воспитательница (“Птички летели, на головку сели...”), вытирала им носы и, возвратившись домой, присаживалась ко мне на краешек дивана, гладила меня по голове маленькой, плотной, твёрдой ладошкой. При этом участливо спрашивала: “Ну как, интересно?” — и вслух размышляла о том, к кому бы пойти в любовницы.

Мы стали пить, сначала по вечерам, а потом случалось, что и с утра, едва проснёмся.

Перепробовали всё — от водки до портвейна (на коньяки, разумеется, не замахивались). Словом, пили всюю. Вернее, я напивался, а ты попивала, берегла себя для будущих богатых любовников. А их всё не было, и тогда мы продали наш памятник Сталину, начаток Царства Небесного — квартиру в высотном доме и купили сначала чердачок, а затем подвальчик. Купили, чтобы там зимовать, жаться к побулькивающим, едва тёплым батареям, к лету же переселялись на дачу. При этом не особо потратились, а оставшиеся деньги положили в надёжный банк, где они благополучно сгорели...

Туда же, на дачу, перевезли и мебель, *ту самую*: решили сберечь, продавать не стали. Тогда-то и выяснилось, что квартиру нашу через подставное лицо купил Его величество Богдан Казначеев, банкир, воротила и наш дачный сосед. Он сам нам об этом сообщил, подозвав однажды (Богдан навещал престарелых родителей) к забору, возведённому на месте столбиков с проволочной сеткой: “Между прочим, я теперь живу в вашем раю. Хорошо!

Только мебели не хватает”. Накарябал на визитной карточке свой секретный телефон и протянул тебе: “На всякий случай. Может, понадобится”.

Я хотел изорвать эту карточку на клочки, но ты не позволила, спрятала за спину, уберегла. Ты ему позвонила — якобы просто так, по старой памяти. Стала уверять, что у тебя всё в порядке, расплакалась и попросилась на работу. Он тебя взял, и ты к нему ушла — навсегда, с вещами. Мы стали соседями по даче. Встречались у забора: я — с одной стороны, а ты — с другой. Это было настолько очаровательно, премило, шаловливо, забавно...

— Ну, как там наша дача? Ёжики под крыльцом фукают? — спрашивала ты с осторожным вызовом, не позволяя себе казаться виноватой и хотя бы слегка заискивать передо мной.

— Фукают, — отвечал я без всякого вызова, словно смиряясь с тем, что участь виноватого опять выпадает мне.

— Падалицы в этом году много? — Почему-то твой голос становился строгим.

— Много.

— Ты её в компост бросай.

— В компот, — поправляю я, и ты не можешь удержаться от смеха, хотя он и лишает тебя некоторого необходимого тебе преимущества в нашем разговоре. — По грибы ходишь?

— Ну, допустим, хожу. Вернее, хожу.

— Не ломайся. На правую сторону?

— Больше на левую.

— Ты ходи на правую. Там суше...

Я делаю вид, что не расслышал.

— Суши?

Ты снова смеёшься.

— Суше, суше, глупенький. А кино больше не показывают?

— Ну, что ты! Какое кино! Сейчас наша жизнь — кино.

— А почему ты меня ни о чём не спрашиваешь?

— А о чём?

— Ну, хотя бы счастлива ли я? Довольна жизнью?

— Считай, что спросил.

— Да, счастлива, — отвечаешь ты наставительным тоном — так, словно заготовила этот ответ заранее.

— Понятно...

— Что тебе понятно?

— Что ты счастлива.

— А ты за меня не суди. — Тебе так и хочется меня за что-то упрекнуть. — И меня не суди.

— Я не сужу.

— Нет, ты судишь, а ты не суди.

— Да не сужу я.

— Вот это правильно, хотя мог бы. Мог бы и осудить. Я бы не обиделась. Прощай.

— Прощай.

На этом мы расстаёмся, чтобы в следующий раз так же встретиться у забора и снова прокрутить наше кино.

Потом ты ушла к своему бельгийцу. Где и как ты с ним познакомилась, не знаю. Лучше ты мне сама об этом напишешь, только, пожалуйста, пиши мельче, с подробностями. Я их обожаю, эти подробности, поэтому уж ты уважь меня, не поленись.

После твоего ухода Богдан стал пить. Но не в том смысле, что попить, а в том, что напиться, — так будет точнее. Меня приглашал не раз, но я отказывался. А затем он стал слёзно упрашивать меня продать ему мебель. Жить он без неё не мог. Всё внушал мне, что без тебя как-нибудь проживёт, а вот без мебели — никак. Вернее, мог, но всё получалось никак.

Тогда я не выдержал и продал — за скромную цену. От лишней платы за неё (а Богдан предлагал немислимую сумму) я отказался, но он мне потом эти лишние деньги подбросил, завёрнутые в газету и перевязанные

бечёвкой (что-то от Достоевского, которого ты ненавидишь). Однако я тебе об этом писал, а посему письмо своё заканчиваю, тебя *нежно и страстно* (помнишь арию Кончака) целую и ставлю, наконец, жирную, маслянистую точку.

Твой бывший муж.

P.S. Только что случайно узнал: купленную у меня мебель Богдан разрубил на куски и сжёг в выброшенном за сарай ржавом мангале для шашлыков. А квартиру в высотном доме за бесценок продал. Сам, по слухам, одичал, оброс щетиной, хотел застрелиться, но вместо этого (равноценная замена) уехал за океан, сменил гражданство, поступил добровольцем в армию и скоро будет с боем брать Москву. Впрочем, это мои фантазии, как ты понимаешь...

Вот и кончилось Царство Небесное на земле. Или, во всяком случае, у нас на Кудринской, бывшей площади Восстания. Впрочем, какая из них бывшая — Кудринская или Восстания, решай сама.